

Колыбель

Эдуард Сероусов



18+

Эдуард Сероусов

Колыбель

<https://litres.ru/74134507>

SelfPub; 2026

Аннотация

Полвека назад биолог Лев Корн подарил человечеству «Обновление» — одну инъекцию, останавливающую старение. Геронтолог Ирма Лазарева пыталась предупредить: режим самоподдержания накопит незаметный сор, и однажды вся когорта обрушится в старость одной волной. Её осмеяли. Полвека мир рукоплескал. Теперь Льву под восемьдесят на бумаге и сорок на вид. Он живёт с приёмным сыном Тимом — шестнадцатилетним смертным. Из южного кластера приходят сводки: люди стареют за дни, разом, как сорвавшиеся часы. Лев прогоняет данные четыре раза — кривая та же, что чертила Ирма. Стрелка подходит к делению месяцами. Повесть о цене вечности, об одной непередаваемой тетради и об отце, который наконец хочет стареть рядом с сыном.

Содержание

Часть первая. Тиканье	4
Часть вторая. Поворот	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Эдуард Сероусов

Колыбель

Часть первая. Тиканье

Часы тикали, и это был единственный старый звук в доме.

Лев держал их в горсти — плоский стальной кругляш на ремешке, протёртом до белизны на сгибе, — и заводил, большим и указательным, по часовой, до сухого упора пружины. Восемь оборотов. Меньше — встанут к ночи. Больше — лопнет внутри волосок тоньше ресницы, а взять его теперь негде: заводов под такие пружины не осталось, и мастера, умевшего их тянуть, тоже — а может, и остался где-то, вечно-молодой, тридцати на вид и за сто по бумаге, но забывший ремесло за ненужностью. Время давно перестало у кого-либо что-нибудь отнимать.

У всех, кроме часов. Часы старели честно. В этом и была их цена.

Они были Верины. Лев носил их двадцать три года — с того утра, когда снял их с её запястья, уже остывшего, и завёл, потому что не придумал, что ещё сделать руками. Вера носила их высоко, у самой косточки, и подводила раз в неделю, по воскресеньям, прищёлкивая языком на отставшую минуту. «Они врут в мою пользу, — говорила она. — Каждый день

дарят мне лишнюю минуту. За год набегает почти полдня. Подумай, Лёва: целых полдня — и всё враньё». Она смеялась, говоря это. Она единственная в его жизни умела смеяться, зная, что состарится. Остальные просто не знали — им отрезали это знание иглой, заодно с морщинами.

— Опять заводишь, — сказал Тим от плиты, спиной.

Плечи под белым халатом были шире, чем месяц назад. Халат он донашивал материнский, с протёртыми локтями, рукава подвёрнуты в три оборота; каждую неделю ткань сидела чуть ровнее, будто мальчик медленно дорастал до матери.

— Единственный человек на земле, который считает время, которого у него навалом.

— Время у всех одно, — сказал Лев.

— У всех — стоит. — Тим повернулся. На «стоит» голос сорвался вниз, на чужую взрослую ноту, и тут же прыгнул обратно; он эту ломку ненавидел, каждый раз дёргался, словно тело подводило его нарочно. — Идёт оно у меня. И шло у мамы.

Лев застегнул ремешок. Кожа под сталью была гладкой — ни пятна, ни морщины, рука сорокалетнего, которой полвека. Рядом запястье Тима, торчащее из подвёрнутого рукава, было в цыпках и тонких царапинах, живое, растущее, некрасивое. Между этими двумя руками лежало всё, о чём в доме не говорили.

Тим поставил перед ним тарелку. Не сел сразу — стоял,

глядя сверху.

— Бабушка звонила. Ночью. — Не «Ирма», не «твоя тёща» — «бабушка», коротко, как гвоздь. — Тебе.

Лев не притронулся к вилке.

— Что просила?

— Передать. — Тим говорил в стол. — Дословно. — Он сглотнул, будто слова были невкусные. — «Скажи ему: я успею первой. Я умру как человек. А он будет смотреть, какдохнет его стадо, и не сможет даже этого — лечь по-людски». — Тим поднял глаза. — Я не понял. Чьё стадо? И почему ты не сможешь.

— Она бредит, — сказал Лев. — Ей много лекарств колют.

— Она не бредила. — Тим сел напротив, подтянул колено к груди, обхватил руками. — Она была злая и трезвая. Как всегда, когда про тебя.

Лев ел. Каша была пересолена — Тим всегда солил с обидой, будто соль могла кому-то что-то доказать. За окном светало серо и ровно, как светало в этом городе всегда, без перемен. «Его стадо». Он знал, что она имела в виду, — она имела в виду это полвека, повторяла на одной ноте, и нота была верной, и оттого невыносимой. Он отложил вилку.

— Она умирает, — сказал Тим уже без яда, тише, и это было хуже яда. — По-настоящему. Не как вы. Врач говорит — недели.

— Я знаю.

— Знаешь. — Тим смотрел на него. — Ты вообще много чего знаешь.

Лев завёл бы часы ещё раз, если б они не были заведены. Он встал, собрал тарелки, и вода в раковине зашумела вовремя — за шумом можно было не отвечать. Это он умел. уходить за шум. Двадцать три года уходил.

— Собирайся, — сказал он через плечо. — Опоздаем.

— На что? — Тим не двинулся. — Туда, где меня терпят из жалости?

— Туда, где тебя учат.

— Одно и то же. — Но он встал и пошёл одеваться, и халат на нём колыхнулся, чуть великоватый, материнский, белый.

На улице было холодно и светло, и лица были одинаковые.

Не на одно лицо — на один возраст. Мужчина у киоска, женщина с собакой, двое на остановке: гладкие лбы, ясные глаза, ни складки у рта, ни седины — все застряли в одном утра жизни, в той бестелесной молодости, которую «Обновление» раздало полвека назад и которая теперь стояла на улицах, как стоит вода в пруду без стока. У перехода Лев увидел знакомое лицо — Соломин, он работал с Соломиным до кампании, тот был уже сед тогда, грузен, тёр поясицу. Теперь Соломин стоял, ровный и юный, и читал что-то в телефоне, и был неотличим от всех. Лев отвёл глаза. К этому он привык. Тим не привыкал никогда.

— Сюда, — сказал Тим и свернул не туда.

Не к Институту — в проулок, мимо школы.

Школа стояла за чёрным забором, и за её окнами было темно. Лев знал это здание; он проходил мимо тысячу раз, не глядя, потому что внутри давно ничего не менялось. Теперь Тим остановился у забора и смотрел сквозь прутья, и пришлось остановиться тоже.

За стеклом первого этажа был класс. Парты в три ряда, доска, на доске — выцветшие буквы, которые никто не стёр. На партах лежала пыль, ровная, нетронутая, толщиной в палец, как снег, который не тает. Стул у учительского стола был отодвинут, будто кто-то встал минуту назад и вышел, — и не вернулся, и не вернётся, потому что незачем: учить некого. На фасаде висела табличка, новая, эмалевая: «Музей детства. Экскурсии по записи». Детей в городе было меньше, чем учителей. Меньше, чем парт.

— Водят группами, — сказал Тим. — Ваши ходят, вечно-молодые, смотрят на парты, как на кости мамонта. Гид рассказывает, что вот за такими сидели маленькие люди и учились читать. Они кивают. — Он смотрел сквозь прутья. — Им интересно. Им правда интересно, представляешь.

Лев молчал.

Тим кивнул на длинное здание за школой, наполовину разобранное; рабочие вынимали из него окна, и проёмы зияли, как вынутые зубы.

— А вон то знаешь, что было? Роддом. Самый большой

в городе. Теперь склад под него делают. — Он повернулся к Льву, ровно, без выражения. — Их «колыбелями» звали — центры ваши, где кололи. По-доброму. Колыбель. Вторая колыбель человечества, новое рождение, я в учебнике читал, в старом, который не выкинули. — Он снова смотрел в проёмы. — А настоящие колыбели — вон. Под склад.

Лев должен был сказать что-то. Он не сказал.

— Ты почему своих не завёл? — спросил Тим, хотя знал. Он всегда спрашивал то, на что знал ответ; это и было оружие. — А, да. — Он усмехнулся одной стороной рта. — Тебя же тоже. Обновили. — Он сказал это слово как плевок. — Поэтому взял готового. Мамин был. Бабушкин внук. Чужой.

И вот тут что-то в груди у Льва дёрнулось, коротко и тупо, как дёргается старый мотор. Он мог бы сказать многое. Что любил её мать. Что не брал его — что мальчик остался, и это разное. Что Вере было сорок шесть, и она знала про каждую цифру: знала, что забеременеть в её годы — риск, что выносить — риск, что вырастить значит не успеть и оставить сиротой при живом отчине-вечном. Знала и решила родить вопреки всему, что Лев продавал миру с плакатов, — родить смертного против бессмертия, наперекор, назло, из веры. Он смотрел потом, как она тает, по-человечески, медленно, год за годом, и держал её остывающую руку, и не отвернулся. И всё равно мальчик был прав в главном: будущее, которое Лев держал за руку каждое утро, было заёмным. Своего у него не было и быть не могло. Он сам об этом позаботился. Полвека

назад, мелом, под смех зала.

— Опоздаем, — сказал он. — Идём.

Тим посмотрел на него ещё секунду — и пошёл первым, и Лев шёл за ним, за чужим растущим мальчиком в материнском халате, по улице одинаковых неподвижных лиц.

В Институте пахло, как пахло всегда, — холодным металлом и реактивами, спиртом и чем-то едва сладким под ними, запахом самой работы. Этот запах Лев любил больше, чем дом. В доме была вина. Здесь была задача, а задача не смотрит на тебя глазами Тима.

Институт был храмом технологии, которую давно сделали. Кампания кончилась полвека назад — колоть было больше некого и нечем, всё розданное было роздано навсегда. Но Институт остался: следить за когортой, держать науку, повторять опыты, которые уже ничего не меняли. Музей при живом боге. Здесь ещё работала синтезная лаборатория — ставили пробы, готовили реактивы, выращивали клеточные культуры для исследований, которые никто не читал. Делать было, по сути, нечего. Но Зоя делала, и делала так, будто от каждой пробирки зависела жизнь, — и потому в её углу одном на весь Институт ещё пахло работой, а не пылью.

Зоя стояла над Тимом у вытяжного шкафа и смотрела на его руки.

— Дрожишь, — сказала она.

— Не дрожу.

— Дрожишь. — Она не повышала голоса; голос у неё был ровный и сухой, как наждак самой мелкой шкурки. Лицо молодое, как у всех, лет двадцати восьми навсегда, — но глаза смотрели из-за этого лица старо, устало, без запаса. — Смотри. Шесть растворов, очерёдность строгая, между ними выждать. Перепутаешь местами — культура свернётся, и не сразу, а через сутки, когда уже поверишь, что вышло. Вот это и есть подлость нашего дела: ошибку видишь не тогда, когда сделал, а завтра, когда уже поздно. Поэтому руки. Над пипеткой дрожать нельзя. Капля туда, капля сюда — и партия в помойку, а партию я делала четыре часа.

Тим стиснул зубы. Поднёс пипетку к риску. Лев смотрел, как мальчик дышит через раз, как ловит каплю на срезе стекла, как опускает её — медленно, медленно — и капля сходит ровно, в черту.

— Ещё, — сказала Зоя. — Десять раз. Не думай про десять. Думай про эту.

Это было ремесло — не наука, а ремесло, то, что в руках, а не в голове; то, чего не прочтёшь, а только переймёшь, стоя рядом, час за часом, пока рука не запомнит сама. Лев знал технологию как никто на земле — он её придумал. Но капать так он бы уже не смог. Руки не учились новому; они слишком давно ничему не учились — полвека им не приходилось. А мальчишеские учились. Цыпки, царапины, ломкий голос — и капля в риск, десятый раз подряд, всё ровнее.

Зоя поймала его взгляд.

— Зачем ты его сюда таскаешь, Лев? — спросила она, не отходя от Тима. — Честно скажи. Кому он тут нужен. Нас же не убудет. — Она усмехнулась сухо, одними губами. — Нас вообще не убудет. В том и беда. Я эту культуру могу растить ещё двести лет, и через двести лет растить её буду я, и никому не передам, потому что некому и незачем. А ты водишь мальчишку. Зачем.

— Пусть учится, — сказал Лев.

— Чему? — Она наконец повернулась к нему, и в молодых глазах было что-то, чего Лев не хотел видеть. — Делать то, что и без него делается и будет делаться, когда его уже сто лет как не будет на свете? — Она помолчала. — У меня были бы такие. Мальчишки. Я кололась в двадцать восемь, мне обещали — успеешь ещё, вечность впереди, нарожаешь. — Она отвернулась к шкафу. — Вечность пришла. Дети — нет. Сноску я тоже не читала. — И, без перехода, Тиму: — Перчатки. Дрожишь над пробиркой, как над покойником, — иди реви в коридор. Тут рабочее место.

— Лев. — Глеб возник в дверях, как всегда возникал — бесшумно, в безупречном, ни складки. На лацкане у него была капля эмали: маленький серебряный кружок с разорванным кольцом внутри — эмблема «Обновления». Глеб носил её пятьдесят лет. — Есть минута?

Они вышли в коридор. Глеб шёл рядом, ровно, спокойно, как ходил всё, что Лев его помнил, — а помнил он его юным,

своим учеником, тем, кто верил Льву больше, чем себе, кто переписывал за ним расчёты по ночам и смотрел на него, как смотрят на отца. Эту веру Глеб носил до сих пор — серебряным кружком на груди. Свой такой же Лев снял на втором году кампании. Снял в ту ночь, когда впервые открыл сноску про зачатие и не уснул, — снял и сунул в ящик, и не помнил больше куда, и носить перестал, и говорить себе, почему перестал, тоже перестал.

— Сводки странные, — сказал Глеб негромко. — С юга. Кластер семь.

— Что значит — странные.

— Не знаю. Здравоохранение мутит, не делится. Какая-то когорта чем-то... болеет. — Он поморщился на слове, будто оно было неприличным. — Болеет давно никто не умеет, вот они и паникуют по любому чиху. Я думаю — ерунда, перепутали что-нибудь. Но раз ты технологию знаешь изнутри: если позвонят — не отмахивайся. Пусть видят, что мы серьёзны и спокойны. Спокойствие — наш главный продукт. — Он улыбнулся. — Всегда был.

— Спокойствие, — повторил Лев.

— Полвека без похорон, Лев. — Глеб тронул значок, привычно, не замечая. — Это мы им дали. Ты и я. Не дай каким-нибудь нервным всё испортить из-за пары стариков, которым стало нехорошо.

Он ушёл так же бесшумно, как пришёл. Лев стоял в коридоре и слушал, как из лаборатории доносится сухой голос

Зои: «Ещё. Не думай про десять».

Тим уехал домой к восьми, и Институт опустел до гула.

Лев остался. Дом ждать не торопил — дома ждали часы и мальчик, который не спал и делал вид, что спит, и Лев предпочитал гул серверов этому ожиданию. Он сидел в кабинете под одной лампой, листал чужие сводки и сам не знал, чего ищет. Слово «болеет» сидело занозой. Болеть давно никто не умел — это была правда, та самая правда, которой он клялся с плакатов. Тело, которое не стареет, не пускает в себя и хворь: режим самоподдержания чинил всё быстрее, чем оно ломалось. Полвека люди не знали ни гриппа, ни опухоли, ни морщины. В этом и было чудо.

Телефон зажёгся в одиннадцатом часу. Номер служебный, южный.

— Лев Аркадьевич? — Голос молодой, как все голоса, но в нём дрожало то, чего в голосах не было давно: страх. — Простите, что поздно. Нам сказали, вы знаете технологию лучше всех. Изнутри.

— Кто это?

— Здравоохранение, кластер семь. У нас... — Пауза, в которой слышно было, как человек ищет слово, которого нет. — У нас люди стареют. Быстро. За дни. Когорта «Обновления», вся разом, в одном районе. У меня тут женщина, я её знаю, мы кололись в один день, ей было тридцать. Вчера

тридцать. Сегодня я зашёл — а в кровати старуха, седая, лицо в трещинах, руки как птичьи лапы, и голос её, понимаете, голос её, узнаёт меня, плачет. За три дня. Сердце сдаёт, кости крошатся, всё сразу. Мы такого не видели. Никто такого не видел. — Голос осёкся. — Я высылаю данные. Посмотрите. Сейчас. Если можно — прямо сейчас.

Файл пришёл через минуту. Лев открыл его в пустом кабинете, под одной лампой, и сервер за стеной тихо завыл, поднимая графики.

Он смотрел на кривую долго.

Кривая была неправильная. Не больная — больные ползут, виляют, дают организму спорить, торговаться за каждый день. Эта падала. Ровно, круто, без спора — как падает то, что сорвалось с упора. И форма этого падения была Льву знакома. Он видел её прежде. Полвека назад. На доске, мелом, в чужой руке, под чужой подписью внизу — подписью, которую он тогда стёр рукавом вместе с предупреждением, под смех полного зала.

Рука сама замерла над клавишей. На миг кабинет пропал — и вместо гула серверов поднялся другой, давний шум: нагретое дерево, мел, пятьсот лиц и женщина из третьего ряда, идущая к доске. Лев моргнул. Шум опал. Сервер выл, кривая стояла на экране, та же. Он знал эту руку с мелом. Он знал имя под кривой. Полвека он не позволял себе договорить его до конца — и сейчас не стал.

Лев завёл часы. Восемь оборотов, по часовой, до упора.

Руки слушались плохо.

Потом он снял трубку и набрал Институт — ночную смену, синтез, кого угодно, кто не спит.

Часть вторая. Поворот

Он прогнал данные четыре раза.

Первый — потому что не поверил. Кривая лгала, должна была лгать; в данных была ошибка, и ошибку он сейчас найдёт. Второй — потому что искал ошибку в своём коде, перечитал каждую строку, переписал две, запустил снова: кривая стояла, как стояла. Третий — потому что искал ошибку у них: в датчиках, в калибровке, в том, как южане снимали показания, в чём угодно снаружи себя, потому что внутри ошибки быть не могло, внутри было пятьдесят лет его правоты. Четвёртый раз он уже ничего не искал. Просто смотрел, как машина в четвёртый раз рисует одну и ту же линию, и в четвёртый раз линия была права, а прав был не он.

Ночной синтезист, которого он поднял звонком, пришёл к полуночи — заспанный, перепуганный самим словом «срочно», какого в Институте не произносили годами. Лев велел ему поднять из архива базовые данные когорты, все, за пятьдесят лет, и, когда тот поднял, отослал домой. Свидетель был не нужен. То, что Лев собирался сейчас увидеть, лучше было увидеть одному — как один он сидел над сноской полвека назад, в ту ночь, когда снял значок.

Дело было не в городе.

Он поднял базовые данные — те, что собирали полвека по всей развёрнутой когорте, миллиарды строк, которые ни-

кто давно не открывал, потому что зачем открывать данные о людях, с которыми ничего не происходит. Серверы заворачивали; такого запроса им не задавали годами. Лев наложил кривую кластера семь на эту толщу и запустил проекцию на всех.

Машина считала долго. Лев сидел и слушал часы, и не заводил их, хотя рука тянулась к запястью сама, — заводить их сейчас он бы не смог.

Вот что она считала, пока он ждал. Режим самоподдержания — тот самый, что полвека держал клетку молодой, чинил её быстрее, чем она портилась, — копил при этом мелкий, незаметный, неисправленный сор. Не болезнь. Просто остаток: то, что всегда чуть больше, чем успеваешь убрать. Капля за каплей, ниже всякого порога, где ничего не болит и ничего не видно на анализах. Полвека капля за каплей, в тишине, в идеальном здоровье. А потом сор перевешивал. Упор срывался. Держать становилось нечем — и тело, разучившееся стареть медленно, обрушивалось в старость разом. За дни. Не износ — обвал.

И срывало не по одному. В этом был весь ужас, вся арифметика. Кампания была сжатая: пять лет, единый протокол, один и тот же укол на всех, одинаковые клетки. Одинаковые клетки копили сор одинаково. Одометр у всей когорты стоял почти на одной цифре, и стрелка подходила к роковому делению у всех почти вместе. Не «когда-нибудь у кого-нибудь». У всех. Окном.

Проекция дорисовалась. Лев смотрел на неё под одной лампой, в пустом институте, и за стеной выл сервер, и это был единственный звук, кроме часов.

Не город. Не кластер. Все. Кластерами, волнами, по месяцам — сперва те, у кого сора набралось чуть больше, чуть раньше; южане были первой волной, не исключением, а началом. Потом следующие. Потом все, кто получил укол в те пять лет. Миллиарды. Лев смотрел на дату, которую вывела машина, — медиану, середину волны, — и дата была не через сто лет, не через десять. Месяцы.

Он искал выключатель. Час. Потом ещё час. Он знал технологию изнутри, он её придумал; если выключатель был, его нашёл бы Лев, и никто, кроме Льва. Он перебрал всё: можно ли остановить режим, можно ли его перезапустить, можно ли догнать накопленное и вычистить. Нельзя. Режим был необратим — это и продавали как чудо. Один укол навсегда, никаких поддерживающих доз, ничего не надо делать, не надо помнить, не надо платить. Навсегда.

Теперь «навсегда» предъявляло счёт. И в счёте не было строки «отмена».

Лев откинулся в кресле. Свет лампы лежал на гладкой коже его руки — руке сорокалетнего, которой полвека, которой оставалось, если машина права, столько же месяцев, сколько всем. Он не чувствовал страха за себя. Это пришло позже. Сейчас он чувствовал только тишину — огромную, ровную тишину, в которой тикали часы Веры и которая, он

понимал, скоро станет тишиной всего мира.

К утру он не спал и не заметил, как пришло утро. Глеб пришёл сам, в восемь, в безупречном, со значком.

— Я видел твою ночную рассылку, — сказал он, садясь. Аккуратно закинул ногу на ногу, разгладил складку, которой не было. — Ты разослал её на сорок адресов.

— Это надо знать всем.

— Это надо знать никому. — Глеб говорил мягко, как говорят с тяжелобольным или с ребёнком. — Пока. Сядь, Лев. Послушай меня один раз, а потом кричи сколько хочешь. — Он подождал, пока Лев сядет. — Допустим, ты прав. Допустим, всё ровно так, как на твоих графиках, до последней цифры. Я тебе верю — ты никогда не ошибался в расчётах, в этом и беда. Теперь думай не как учёный, а как человек, которому завтра жить в том мире, где эту новость произнесли вслух. Семь миллиардов одновременно узнают, что умрут к зиме. Что будет к вечеру того же дня?

Лев молчал.

— Я скажу что. — Глеб наклонился вперёд, локти на колени, и говорил тихо, разумно, и в этом была вся его страшная сила: он был разумен. — Кто сядет за пульт станции, узнав это утром? Кто поведёт состав? Кто встанет к крану водозабора — зная, что вода ему уже ни к чему, что детей у него нет и не будет, что после него — пусто, склад, ничего?

Диспетчер в башне аэропорта, который держит в голове двадцать бортов, — он останется на смене, узнав, что он покойник? Или пойдёт домой, к жене-покойнице, доживать те месяцы по-человечески? Я бы пошёл. Ты бы пошёл. Все пойдут. — Он развёл руками, медленно, ладонями вверх. — И вот тогда, Лев, тогда люди начнут умирать. Не от твоей кривой. От того, что в день новости погаснет свет, встанут поезда, в кранах кончится вода. Раньше и грязнее, чем по твоим графикам. Месяцы, которые, может быть, у нас ещё есть, мы спалим за одну ночь — в темноте, в давке, в пожарах. Твоя честность убьёт больше, чем сама болезнь, и убьёт быстрее.

Это было верно. Вот что было невыносимо: это было верно, и за это Глеба нельзя было ненавидеть начисто, нельзя было отбросить как труса или подлеца. Он не был ни трусом, ни подлецом. Он был арифметикой.

— Что ты предлагаешь, — сказал Лев.

— Время. — Глеб откинулся. — Назовём это изолированным случаем. Аномалия в одном кластере, расследуем, держим под контролем. Спокойствие — наш главный продукт; дай мне продать его ещё раз, последний. Мы выиграем месяцы порядка вместо ночи хаоса. А в эти месяцы — будем думать. Искать. Может, ты что-то найдёшь. Ты же гений, Лев. Ты всегда что-то находил. — Он встал, поправил значок на лацкане. — Только не кричи на сорок адресов. Кричать — это роскошь. У нас её больше нет.

Он пошёл к двери. И тогда Лев понял, почему молчит, —

и от этого понимания стало совсем худо. Не только потому, что Глеб был прав про свет и воду. А потому, что внутри, в самой нечестной, самой стыдной глубине, всё ещё сидело тихое, незаглушимое: а вдруг не все. А вдруг кривая всё-таки солгала в четвёртый раз, наперекор всему. А вдруг то, что он продал миру, было право — и счёт справедлив для кого угодно, только не для него, и его выпишут не Льву. Полвека он был прав. Полвека мир рукоплескал ему за то, что он отнял у смерти. За одну ночь поверить, что рукоплескали палачу, было невыносимо — и он не верил, не до конца, и в этом неверии прятался, как прятался за шумом воды.

— Изолированный случай, — сказал Глеб от двери и улыбнулся почти ласково. — Спасибо. Ты всегда понимал, что важно.

Он вышел. Лев смотрел на серебряный кружок, уплывающий за дверь, — на разорванное кольцо, которое сам когда-то носил и снял, и сунул в ящик, и не вспоминал полвека.

Второй кластер вспыхнул через два дня. На другом конце страны, в городе, где Лев никогда не был. Та же кривая. Те же дни. Те же лица, которые в понедельник были как все, а к пятнице — не узнать: запавшие, серые, в трещинах, с чужими старыми глазами, которые помнили, что ещё вчера были молоды.

Глеб держал слово «изолированный» в эфире, но в сети

уже ползло другое. Кто-то снял на телефон, как в южном дворе выносят на руках старуху, и старуха кричит, зовёт чужим молодым именем, а сосед в кадре говорит ровным, страшным голосом: это она, ей тридцать, я её знаю с садика. Рोलик удаляли — он всплывал снова, под новыми подписями, обрастая догадками, как тонущий обрастает водой. Пока это были только догадки; пока в них не верили всерьёз — так не верят в собственную смерть, даже читая о ней. Но счётчики просмотров росли, и догадке оставалось недолго. Скоро она встретится с такой же из соседнего двора, и из третьего, сложится в то, что Глеб боялся произнести вслух, — и тогда погаснет свет, ровно как он и обещал, раньше и грязнее всякой кривой.

После второго спорить стало не с чем. Изолированный случай не бывает дважды на разных концах земли. Глеб всё равно держал слово «изолированный» в эфире, и эфир ещё верил, — но Лев уже знал, что эфир верит в последний раз.

И тогда, сидя над второй кривой, Лев увидел вторую половину счёта — ту, которую полвека никто не считал, потому что незачем считать пустые роддома, когда роддома просто закрывают под склад.

Когорта не оставила никого.

Это знали всегда. Это было в первых же протоколах, мелким шрифтом, сноской, — той самой сноской, которую он сам прочёл на втором году кампании, ночью, один, и после которой снял значок и не уснул: терапия гасит зачатие. Не

вредит, не калечит — просто выключает, как выключает старение, потому что это одна и та же ручка. Природа берёт за всё одну цену. Хочешь, чтобы клетка не тратила себя на потомство и чинила только себя? Изволь: вот тебе вечная клетка. Бездетная. Он прочёл это полвека назад — и отложил, и пошёл дальше, на сцену, к плакатам, потому что кто откажется от вечности из-за сноски, и кто из миллиардов вообще прочтёт сноску под словом «навсегда».

Он открыл другую цифру, которую тоже полвека никто не открывал, — рождения. Кривая ползла вниз с первого года кампании и легла на ноль задолго до того, как Лев перестал считать годы. Последняя заметная когорта детей — холдауты, рождённые от холдаутов, упрямы от упрямцев, — была меньше населения одного старого города. Тех, кто моложе Тима, на всей земле, можно было бы, наверное, собрать на одном стадионе — и остались бы пустые ряды. Это число он впервые понимал не как сноску, а как обрыв дороги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.